

Ирина Скрынник

## STABAT MATER



Мне тогда было чуть больше 15-ти, я училась на первом курсе магаданского музучилища. Наш училищный хор под управлением Евгения Ивановича Алхимова, человека талантливой и в высшей степени незаурядной (и, как сейчас я понимаю, глубоко несчастной, непонятно, какими судьбами заброшенного на край империи), этот наш девичий хор был своего рода городской достопримечательностью. Местное телерадио решило сделать передачу о хоре, требовался генеральный "прогон" программы и было объявлено, что мы скоро поедем с шефским концертом в областную глубинку. А в программе, кроме чего-то обязательного, советско-патриотического, ни много ни мало – Stabat Mater Перголези! Конечно, не всё произведение, а только первая и последняя части. Мы так любили эту музыку, так старались петь её правильно, "мальчишковыми" голосами, что даже наш вечно язвительный и щедрый на колкости Алхимыч прочувствованно прикрывал краснеющие глаза на последних "Amen".

Для записи было решено одеть девочек в настоящие концертные костюмы. Обошлись, как водится, по-советски: свой белый "верх", а чёрный "низ" (юбки "под бархат") – пошить всем одинаковый, причем за наш же счет. Староста хора собрала с каждой из нас деньги, был куплен оптом чёрный плюш. Думаю, договорились с

бюро ритуальных услуг – в магазинах того времени ничего не было. Потом этот траурный рулон поделили на 30 равных частей и объяснили, что нужно вручную сделать два боковых шва, притачать к этому мешку до пят широкий пояс – и концертная юбка готова! Несмотря на отсутствие у многих швейного опыта, девчонки были счастливы. Мы с лихорадочным возбуждением торопились скомструить свои наряды и нервничали: чертов плюш рассыпался в руках. Все помогали друг другу, работа кипела во всех комнатах общаги, так как большая часть студенток была даже не из Магадана, а из дальних городков и посёлков северо-восточной окраины страны.

И вот наступил день нашей "гастроли". Ранним льдистым весенним утром мы уселись в старенький львовский автобус, и Евгений Иванович, как-то странно оглядев нас задумчивым взглядом, негромко сказал, что мы едем в посёлок Стекольный в детский интернат, будем петь для детей-сирот. Помню наше лёгкое разочарование: мы уже имели некоторый сценический опыт и знали, что выступать перед школьниками – дело неблагодарное и даже бессмысленное. Но вот автобус тронулся, выглянуло солнышко и скоро, как это часто бывает в молодёжных компаниях, мы весело всей оравой распевали наше программное и не очень. Алхимыч тщетно увещевал нас не драть глотки раньше времени, но мы только хохотали и горланили дальше. Постепенно артистки всё же притомились и затихли – сказывался долгий путь, некоторых девчонок укачало: было такое впечатление, что в старом ЛАЗе выхлопная труба выходила прямо в салон! Да и дорога, поначалу кое-как асфальтированная, уже давно стала грунтовой, из укатанной гальки. В дребезжащем мастодонте нещадно трясло. Низкорослые, чёрные, совершенно неживые лиственничные дебри однообразно вращались за окнами автобуса, бурые неживописные сопки повторялись с дурной равномерностью и тоже настроения не добавляли. На коротких стоянках, отлучаясь в придорожный лесок, мы с визгом проваливались по колено в трухлявый многовековой мох, покрытый хитиновым покровом жизнестойкой брусники. Кое-где мы даже отыскивали тёмные рубинчики перезимовавших ягод. Чем дальше мы ехали, тем сквернее становился путь, инопланетнее пейзаж. Вряд ли кому-то из моих тогдашних попутчиц приходило в голову, для чего была проложена эта дорога и куда она когда-то вела... О недавнем каторжанском прошлом этого края мы тогда мало раздумывали.

Первое впечатление от посёлка – удручающая заброшенность, ненужность здешней жизни. Какая-то запредельная нищета приземистых ободранных строений,

во всём – временность и необязательность. Только огромные, покрытые тонким ледком лужи посреди раздрызганной поселковой площади сияли нарядной отражённой синевой неба и радовали глаз. Здание интерната и внешне и внутренне больше всего походило на разрушенный коровник. Сходство усиливалось ещё и из-за какого-то отдалённого мычания. Не помню, кто нас там встречал. Наверное, кто-то встретил и препроводил в длинный кишкообразный зал с непременным гробовым кумачом и портретами основоположников. Но запомнилось, что в этом полутёмном хлеву было тихо, детей не видно, как будто всё вымерло. Внутри было так обшарпано, грязно и холодно, что мы подавлено сбились в кучку и не решались снять верхнюю одежду. Как нелепы были здесь наши "бархатные" роскошные наряды! Изредка что-то тихо шелестело, украдкой пробежало, но рассмотреть мы ничего не успевали. Видя наши потерянные физиономии, Евгений Иванович прикрикнул на нас, строго и коротко напомнил о хоровой дисциплине и ответственности музыканта на сцене, велел переодеться и после беглой распевки вывел нас на "сцену".

Собственно, сцены и не было. Второй ряд хора взгромоздился в своих немислимых юбках на шаткие лавки, на таких же сидела и публика в зале. Там, в зале, стояла какая-то обморочная тишина. Не слышно было ни шёпота, ни возни, ни смешков, таких привычных на детских концертах. По неписаным законам сцены смотреть в зал не разрешается, всё внимание – на дирижёра. Но, поскольку я среди вторых сопран балансировала на верхотуре, за несколько мгновений мне удалось разглядеть серую мышиную неподвижность слушателей и их одинаковые ушастые лысые головы. Кажется, девочек не было – во всяком случае, все были одеты одинаково и побриты наголо. В первом ряду, как оцепление, барьером между нами и интернатскими уселись животастые тётки, некоторые в белых кухонных халатах. По бокам, в проходах, как конвой, тоже стояли взрослые на стороже. Странно, но в памяти не осталось ни традиционного представления хора, ни объявления программы, ни каких-либо речей и здравиц, так любимых в советские времена. Как будто всё происходило в безвоздушном пространстве, как в медленном ночном кошмаре. Пианино там не обнаружилось. Думаю, о существовании каких-либо музыкальных инструментов обитатели скорбного приюта вообще не подозревали. Поэтому советский репертуар вывалился весь, а классику решили спеть без сопровождения. Евгений Иванович властно обвёл всех нас своим горящим артистическим взглядом, и мы самозабвенно отправились в привычное плавание.

Спели а саррелла "Царскосельскую статую" Кюи, "Горные вершины" Танеева, ещё что-то. Кажется, были аплодисменты между произведениями, но я их не запомнила. А потом, без инструментального вступления (да ладно уж!), секундная концентрация, как перед прыжком в воду и – "Sta-a... Sta-bat Ma-a... Ma-ter do-o-lo-ro-sa...", "Мать скорбящая стояла..."

Что-то там происходило, в этом зале, я это чувствовала. Я чувствовала это по дрожи локтей рядом стоящих девочек, по ужасно бледному, со свекольными пятнами лицу Алхимыча, по вакуумной тишине в паузах, по особой звонкости голосов, когда хор начинает петь невероятно, запредельно чисто. Там, в этом убогом зале, между нами, поющими, и ими, слушающими, происходило то главное, ради чего одни выходят на сцену, а другие рассаживаются в залах. Это удивительное чувство, как если бы до нашей планеты дошёл сигнал далёкой разумной жизни, я не забуду никогда...

После концерта нас пригласили на праздничный обед вместе с воспитанниками. Были какие-то скользкие тефтели и уютская радость – водянистый кисель цвета слабого раствора марганцовки, такого же запаха и вкуса. Несмотря на несомненный успех и на голод, настроение было как на поминках, и ели мало: в столовке мы наконец разглядели своих маленьких слушателей. Кажется, почти все они были с психическими или физическими нарушениями. Серые, заморенные, неопределённого возраста, обтрёпанные карлики с безумными старческими личиками, они иногда что-то слабо выкрикивали, нечленораздельно мычали. Воспитательницы по-гусиному шикали на них и яростно оттесняли от нас животами особенно любопытствующих. Неловкость и общая подавленность усилились после того, как между потерявшими бдительность тётками прокрался один шустрый мальчонка и, с нежностью погладив по бархатной коленке мою соседку, назвал её мамой... Это домашнее и такое неуместное здесь слово как волна прокатилось по всему интернату. Они там все выговаривали только одно это слово: мама.

На обратной дороге мы не пели и не говорили. И вообще почему-то об этом потрясающем во всех смыслах концерте, о нашей творческой удаче никогда не вспоминали. Только на телевизионной записи, когда хор уже стоял перед камерами, весь натянутый как тетива лука, Евгений Иванович сказал: "Пойте как тогда, в Стекольном!"